

## НОСОВ, ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

### ШОПЕН, СОНАТА НОМЕР ДВА

После первых осенних дождей серый пыльный большак почернел, умягчился упруго и был до глянца накатан автомобильными колесами. Сахарозаводской грузовик бежал по нему ходко, почти не гремя бортами, будто по асфальту. В шоферскую кабину никто не стал подсаживаться, всем оркестром в двенадцать человек ехали в кузове на клубных откидных стульях. Здесь, на вольном ветерке, можно было курить, слушать, как Ромка, валторнист, травит свои бесконечные анекдоты, и перешучиваться со студентами, присланными убирать сахарную свеклу. Машина, сверкавшая никелем труб, привлекала девчат, что работали по всей дороге, они отрывались от бурачных куч и с любопытством глядели из-под ладоней, выпачканных землей, на разнаряженных музыкантов.

— Эй, завлекалки! — задевали их ребята.— Сыграть вам па-де-де? Чтоб веселее работалось?

Ромка хватал с колен валторну и, пузырясь на ветру плащом-болоней, рвал студеной осенний воздух рублеными пронзительными звуками "Лебединого озера": "Лата-та-та-та-а-тара-та-а-а..."

В ответ летели бураки, грохали по машине, парни, с хохотом пригибаясь, прятали головы за высокие планчатые борта, а Пашка, схватив тарелки, ловко, по-теннисному, со звоном отбивал ими свеклу.

— Полегче, полегче там! — кричал он с азартом, поправляя сбитую кепку.— Чего урожай расходуете!

— Взяли б да помогли! — кричали девчата.— Ишь вырядились! Тунеядцы!

Машина проносилась мимо, а по сторонам, зажигаясь шутливой перебранкой, уже бежали к дороге, к грузовику, новые стайки девчат и дружно бомбили кузов бураками.

— Эх, соскочу! — хохотал Пашка.— Ой, поймаю курносую! — Под градом бураков он уже не отбивался, а лишь закрывал лицо тарелками, тогда как Ромка, высунув за борт один только раструб, продолжал неистово дудеть, подзадоривать студенток: "Ти-та-та-та-та-а-а..."

Шофер неожиданно тормознул, в решетке заднего окна показалось его злое лицо.

— Вы что, чокнутые? Стекла побьют!

Дядя Саша, старший в оркестре, от самого завода ехавший стоя, облокотясь о кабину, и тоже во время налета девчат вынужденный пригнать голову, обернулся и осадил парней:

— Хватит вам! Павел, ты как с инструментом обращаешься?

— А что ему сделается? — Пашка с недоумением повертел никелированными дисками. Дядя Саша нахмурился.

— Положи тарелки. Нашел игрушки! И вы тоже — угомонитесь.

— Все, старшой, все!

Ребята нехотя рассаживались по стульям.

А дядя Саша ворчал:

— Разбаловались, понимаешь... Не на свадьбу едем, Понимать надо.

— Ну все, отбой. Мир-дружба!

Серенькая, в мелком крапе кепка старшого была надвинута до самых бровей. От встречного ветра фиолетово синели впалые щеки, выбритые перед самым отъездом. Из кармана жесткого шевиотового плаща воронкой кверху торчала его сольная труба в черном сатиновом чехольчике. По давней привычке он всегда держал ее при себе.

Ромка снова принялся за свои байки, ребята обступили его, висли на плечах друг у друга, гоготали вовсю. А дядя Саша, расстегнув плащ, из-под которого сверкнула на пиджаке красная орденская звездочка, достал из бокового кармана сигарету и, раскурив ее в затишке, за кабиной, продолжал отрешенно глядеть на бегущую встречу дорогу.

Мимо с глухим ревом и чадными выхлопами прошел КраЗ. В кузове, наращенном грубыми неоструганными досками, и в двух его прицепах дядя Саша успел разглядеть серые вороха еще не просохшей свеклы. Следом промчались два голубых близнеца-самосвала — тоже со свеклой, и у обоих на дверцах по белому знаку автотранса. Колхозы спешили, пока позволяла погода, управиться с самой докучливой культурой.

Великая русская равнина в этих местах постепенно начинала холмиться, подпирать небо косогорами, отметки высот уже уходили, пожалуй, за двести метров и выше. В глубокой древности эту гряду холмов так и не смог одолеть ледник, надвинувшийся из Скандинавии. Он разделился на два языка и пополз дальше, на юг, обтекая гряду слева и справа.

И может быть, не случайно на этих высотах, не одоленных ледником, без малого тридцать лет назад разгорелась небывалая битва, от которой, как думалось дяде Саше, спасенные народы могли бы начать новое летосчисление. Враг, грозивший России новым оледенением, был остановлен сначала в междуречье Днепра и Дона, а потом разбит и сброшен с водораздельных высот. В августе сорок третьего, будучи молодым лейтенантом, тогда еще просто Сашей, он заскочил на несколько дней домой и успел захватить следы этого побоища на южном фесе. К маленькой станции Прохоровке, куда был нацелен один из клещевых вражеских ударов, саперы свозили с окрестных полей изувеченные танки — свои и чужие. Мертво набычась, смердя перегоревшей солярккой, зияя рваными пробоинами, стояли рядом "фердинанды", "тигры", "пантеры", наши самоходки и "тридцатьчетверки", союзные "Черчилли", "шерманы", громоздкие многобашенные "виктории". Они образовали гигантское кладбище из многих сотен машин. Среди них можно было и заблудиться.

Дядя Саша курил на ветру, оглядывая высоты, ныне дремлющие под мирными нивами, а сзади него ребята шумно обсуждали какую-то поселковую новость.

— Зойка приехала? — слышался возбужденный Пашкин голос.— Заливаешь?

— Сам видел,— рассказывал Роман.— Юбка — во! До пят. С каким-то флотским.

— Хахаль небось.

— Да похоже — муж. В универмаге ковер смотрели. Я подхожу: привет, Зоя. А она черными очками зырк-зырк: "Это вы, Рома? Я вас и не узнала. Богатым будете".

— Про меня не спросила? — с неловкостью хохотнул Пашка.

— Нужен ты ей больно!..

Тогда, в Прохоровке, дожидаясь попутной машины домой, на сахарный завод, дядя Саша долго ходил среди танковых завалов. Знойный августовский ветер подвывал в поникших пушечных стволах, органно и скорбно гудел в стальных раскаленных солнцем утробах. Но и мертвые, с пустыми глазницами триплексов, танки, казалось, по-прежнему ненавидели друг друга. Дядя Саша разглядывал пробоины, старался распознать, кто и как обрел свой конец, пока не натолкнулся в одном месте на тошнотворно-сладкую вонь, исходившую от "тигра" с оторванной пушкой. Видно, наши саперы, перед тем как оттащить танк с поля боя, по небрежности не обнаружили внутри, проглядели труп немецкого танкиста. А может, в тот момент он еще и не был трупом...

— Спорим, уведу! — все кричал, горячился Пашка за спиной дяди Саши.— Нет, спорим?!

— Кого, Зойку? От этого морячка? Сядь, не рыпайся.

— Давай на бутылку коньяку. Жорик, будь свидетелем!

— Брось, дело дохлое,— успокаивал Ромка.— Морячок — что надо. Бумажник достал за ковер платить — одни красненькие.

— Плевал я на красненькие. Только пальцем поманю. Я ж с ней первый гулял.

— Ты первый? Ну, трепач!..

Теперь этого танкового кладбища нет. Оно распахано и засеяно, а железный лом войны давно поглотили мартены. Заровняли и сгладили оспяные рытвины от мин и фугасов, и только по холмам остались братские могилы.

Дядя Саша, иногда наведываясь в поля с ружьем, замечал, как трактористы стороной обводят плуги, оставляют нетронутыми рыжие плешины среди пашни. И как пастухи, выгоняя гурты на жнивье, не дают скотине топтать куртинки могильной травы. Лишь иногда просеменит меж хлебов к такому месту старушка из окрестной деревни, постоит склоненно в немом раздумье и, одолев скорбь, примется выпалывать с едва приметного взгорка жесткое чернобылье, оставляя травку поласковой, понежнее: белый вьюнок, ромашку, синие цветы цикория, а уходя — перекрестит эту траву иссохшей щепотью. Случалось, дядя Саша и сам нечаянно набредал на такой островок, где в жухлой осенней траве среди пашни охотно ютились перепелки, и подолгу задерживался перед ржавой каской, венчавшей могильное изголовье. Иногда сидел здесь, усталый, до самой вечерней зари, наедине со своими мыслями, смотрел, как печально сочатся закаты над этими холмами, и казалось ему, будто зарытые в землю кости все прорастают то тут, то там беглыми обелисками и будто сам он, лишь чудом не полегший тогда во рву, прорастает одним из них...

— Дядь Саш! — не сразу услышал старшой.— А дядь Саш!

Он обернулся и увидел граненый буфетный стакан, протянутый Севой-барабанщиком. Круглое лицо Севы с выступающей из-под берета ровной

челочкой было деловито озабоченно. От хода грузовика водка всплескивалась, подмачивая половинку соленого огурца, которую он придерживал большим пальцем поверх стакана.

— С нами за компанию,— поддержал Иван, по прозвищу "Бейный", высокий нескладный парень с белесым козым пушком на скулах, игравший в оркестре на бейном басы.

Дядя Саша чуть было не сорвался, чуть не крикнул на Севу: "Ах ты паршивец! Ты ж еще в девятый класс ходишь, еще молоко на губах не обсохло! Выгоню к чертовой матери из оркестра!" Но не выдержал его мальчишески ясного, доброго, терпеливого взгляда, смягчился и только сказал:

— Я не буду. Спасибо.

— Дядь Саш! Ну, дядь Саш! — наперебой загомонили ребята: и Ромка, и альтовик Сохин, и второй тенор Белибин.

Дядя Саша недовольно молчал.

— Ладно тебе, шеф! — с обидой сказал Пашка.— Холодно ведь. До костей продуло.— Он зябко потер ладони.— А ты не будешь, так и мы не будем.

— Нет, ребята,— твердо сказал дядя Саша.— Вы как хотите, а я не могу дышать водкой в мундштук. Мне Гимн сегодня играть,— и отвернулся.

— Так и нам играть! — почему-то обрадовались ребята.— Что ж теперь, выливать за борт?

— Да заткнитесь вы! — оборвал Ромка.

— Севка! — обиженно крикнул барабанщику Пашка.— Дай сюда стакан! Дай, говорю,— и, досадливо кривясь, целясь из стакана в горло бутылки, зажатой меж колен, обрызгивая брюки, стал переливать водку.— Ну и черт с вами! — ворчал он громко неизвестно на кого.— Все такие идейные стали. Еще попросите, а я не дам.

Въехали в знакомую Тихую Ворожбу. Наново отстроенное село больше не угрюмилось соломенными кровлями. Перед домами за весело раскрашенными штакетниками багряно кучерявилась вишенная молодь. На еще зеленой уличной траве мальчишки, отметив кирпичами футбольные ворота, азартно гоняли красно-синий мяч с западающими боками. Увидев грузовик с оркестром, они всей ватагой помчались следом, свистя и горланя. И долго еще гналась вслед рыжая собачонка, с хриплым лаем подкатываясь под заднее колесо. Сева, перевесившись через борт, поддразнивал ее, замахиваясь барабанной колотушкой.

— Ну, честное слово, как маленькие,— досадливо обернулся дядя Саша.

Ему почти не верилось, что на этой тихой улочке, по ее мураве, некогда тянулись глинистые, гнойно-желтые рубцы окопных брустверов, звякали под ногами стреляные гильзы и сухой ветер рассеивал золу с горячих еще пепелищ.

Громыкнул под колесами расшатанный мостик, внизу холодно блеснула осенняя вода, усыпанная палым листом, и сразу же на той стороне, на взгорке, завиднелись избы, но уже другого села, Заполья, тоже восставшего из праха.

Свернув с большака, проехали еще какие-то деревни и два раза пересекли похожие друг на друга речушки. Они во множестве начинались здесь, среди этих водораздельных высот, и разбегались на все стороны света:

одни — на запад, к Днестру, другие — к Дону, иные же, сливаясь с притоками, несли свою ключевую свежесть далекой Волге.

За последней деревней, за сырым кочковатым лугом, выпер очередной увал. Сквозь редкие ольхи чернел он осенней пахотой, был крут и наг, как все здешние высоты, на которых из-за ветров и безводья не принято было устраивать жилья, а лишь ставились в прежние времена ветряные мельницы, сгинувшие бесследно в огне последней войны. Мельниц там больше не возводили, а только под осень выметывали соломенные стога, у которых потом, уже по снегу, мышковали голодные лисы. Отсюда, снизу, казалось, что нахолодавшие облака сизым брюхом задевали неприютную хребтину, и там, на ветряном юру, вдруг стала видна на черной перепаханной земле большая пестрая толпа. Люди вдали безмолвно по-мурашиному копошились, перемешивались на одном и том же пяточке, и оттого порой пронзительно вспыхивало под низким солнцем стекло стоявшей там автомашины. Глядя на этих людей, на их молчаливое топтание в пустынном поле, уже прибранном под зиму, на котором не могло быть никакой работы, никакой причины собираться гуртом, парни в кузове невольно присмирели, поняв, что это и есть то самое место, куда их вез старшой.

Молча въехали проселком на крутую гору, по свежим колеям свернули на тряскую пахоту. Чуть поодаль от толпы, за соломенной скирдой, стояли мотоциклы, грузовые машины, прямо на земле лежали велосипеды. У брошенной сеялки белела "Волга". Люди толклись на лоскуте нетронутой желтой стерни, вокруг покрытого брезентом невысокого конуса. Тут же, у подножия, валялись оставшиеся от кладки битые кирпичи, доски опалубки, заляпанные цементом. Школьники в ярких галстуках и белых одинаковых пилоточках старательно собирали весь этот мусор. К машине с оркестром тотчас подошло несколько человек, и дядя Саша сразу узнал бывших фронтовиков из здешних деревень, с которыми не раз встречался в райбольнице, на втэковских комиссиях. Прямо через борт он обрадованно пожал руку Степану Холодову из Долгушей, Тихону Аляпину с железнодорожного разъезда, однополчанину Федору Бабкину, еще двум-трем незнакомым мужикам и деду Василию, который, не глядя на хромоту, шустро суетился вокруг грузовика.

— Давай, ребята, струмент сюда,— хлопотливо распоряжался дед Василий, ладонью отбивая крючья заднего борта. На нем была артиллерийская фуражка тех лет, еще свежая, незаношенная, должно быть, он берег и надевал ее только по торжественным случаям, а на груди совсем не по уставу, прямо на новенькой синей телогрейке, покачивались белые и желтые медали.— На травку струмент несите, на травку.

Он принял через борт самую большую спящую никелем трубу и бережно понес ее перед собой, как горячий самовар. Тихон и однорукий Степан потащили за растяжки барабан. Вслед понесли, ближе к обелиску, все остальные дудки и трубы. Тут же, на стерне, уже были разложены рядком еловые венки с яркими бумажными цветами.

— На траве оно мягче,— уважительно приговаривал дед Василий.— Струмент все-таки. Вещь ценная.

По всему было видно, что, кроме оркестра, ждали еще кого-то. Под скирдой в затишке сидели женщины. Возле них гомонили дети, затеяли беготню в салочки вокруг соломы. Тут и там прохаживались принаряженные парни с девушками. Пашка, а за ним и остальные заводские, словно бы невзначай, подошли к местным. После церемонных рукопожатий парни сразу закурили, и вот уже Роман под одобрительные смешки принялся травить свои байки.

Несколько мужчин, должно быть председатели колхозов, все в коротких плащах и шляпах, обособленно держались возле светлой "Волги". На загорелых шеях белели негнущиеся воротнички нейлоновых сорочек. Они тоже покуривали без нужды и были несколько скованы непривычной торжественностью своей одежды и ожиданием предстоящего.

Фронтвики постояли возле сложенных труб, разглядывая хитросплетения блестящих колен и клапанов, потом, как всегда при встречах, принялись вспоминать, кто и где воевал, докуда дошел, где застала победа.

— У тебя, Федор, помнится, вроде бы "Слава" была? — спросил дядя Саша.

Федор махнул рукой сокрушенно:

— Да не нашел. Кинулся в сундук — вот эти лежат, а "Славы" нету. Небось внук, демоненок, баловался и задевал куда-то. Приставал, помню: дай поносить, дай поносить. Ну, на, говорю, померяй, побудь в героях. А он, вишь, и забельшил невесть куда.

— А то, глядишь, променял дружкам на какую свистульку, — дед Василий смеялся беззубым ртом. — Понятия никакого нету, чем за это плачено.

— Дак, они, медали-то, вроде как уж и без надобности были, — сказал незнакомый дяде Саше мужик в литых резиновых сапогах. — Победу и ту одна забыли спраздновать. Самый для орденов подходящий день. Многие поотвыкли, вроде и совестно выржаться. Это вот теперь опять надевать начали.

Старые солдаты, смущаясь, исподволь разглядывали друг на друге боевые награды — у кого сколько и какие.

— Медали пришил — куда ни шло, — сказал Степан Холодов, взглянув на новую телогрейку деда Василия. — От них на одежке никаких следов не остается. А ежели, к примеру, Красную Звезду, дак эвон какая дырка! К маю купил новый костюм, и сразу задача: надевать орден ай нет? И надеть охота, и костюм дырявить жалко.

— Оно ежели б как раньше: навинтил, да и носи без съему, — поддакнул фронтвик в резиновых сапогах.

— Ну да, ну да, — кивнул Холодов. — Не станешь же потом всякому пояснять, что дырка-то не простая, а почетная.

Солдаты посмеялись незатейливой шутке, и Холодов спросил:

— Ты, Федор, за свою "Славу" сколько получал?

— Уж и не помню... Рублей тридцать, кажись. Еще старыми.

— Выходит, трешку по-нонешнему?

— Дак нынче и вовсе ничего, — заметил Тихон Аляпин.

— Знаю, что ничего. Это я так, прикинуть. А вообще-то надо бы опять платить наградные. Раз уж ордена начали носить.

— Всем платить — ого, сколь надо!

— Да уж сколь? Всего-то рублишко за "Отвагу".

— Тебе рубль да другому рубль — мильон и набежит. Одной "Отваги" и то знаешь сколько?

— Ну, не скажи. Теперь не больно-то густо осталось,— возразил Холодов.— Много ее, "Отваги"-то, на красных подушечках отнесли. Одних маршалов сколь проводили. По газетам гляжу: то один, то другой в черной рамке. А уж нашего брата и подавно большой укос. Да вот считай: тогдашним новобранцам и то уже под пятьдесят...

— Так-то оно так. Костлявая чинов не разбирает...

— Выходит, казне полегче теперь стало. Можно бы какую мзду и начислить солдату, который еще уцелел.

— Ну и крохобор ты, Степк! — сплюнул Федор.— Дай награду тебе, да еще мзду в карман. Да нешто мы наемники, что ли? Не чужое обороняли, свое, кровное. К тебе, допустим, в хату воры полезли, а ты их взял да и поколотил. А потом матери своей говоришь: "Я воров прогнал, проявил геройство, давай, мать, за это трояк!" Ведь не станешь у своей же матери требовать? Не станешь! Так и это надо понимать.

— Ну, уел, уел он тебя, Степка! — засмеялись фронтовики.— Ничего не скажешь!

— Да я про что? — тоже рассмеялся Холодов.— Мне разве деньги нужны, чудак-человек. Трешка — какая пожива? А когда прежде их платили, вроде бы пустяк, табашные деньги, а — приятно! Вот я про что. Идешь, книжечку предъявляешь — тебе очередь уступают, глядят с уважением.

— Тебе и сейчас уступают, вон рукав пустой.

— Да не дюже-то раздвигаются.

— Э-э, мужички! — воскликнул дед Василий.— Какой разговор завели! Скажи спасибо, живы остались. Сам бы от себя платил!

К фронтовикам подошел председатель здешнего колхоза Иван Кузьмич Селиванов. Грузный, страдающий одышкой, он был тоже увешан орденами, тесно лепившимися вдоль обоих пиджачных бортов. И даже покачивался на голубой ленте какой-то инодержавный "лев", который за неимением места расположился почти на самом животе. Казалось, Селиванов потому так тяжело дышал и отдувался, что непривычно нагрузил себя сразу такой уймай регалий.

— Привет, гвардия! — сипло пробасил он, расплываясь в улыбке своим добрым простоватым лицом, и сам тоже, как и все прежде, вскользь, ревниво пробежал живыми серенькими глазами по наградам собравшихся.

Дед Василий плутовато сощурился:

— Упрел, однако, Кузьмич! Шутка ли, такой иконостас притащил. Никаких грудей не хватит — наедай не наедай.

В другом месте так лихо и не посмел бы созоровать дедко, но тут, в кругу бывалых окопников, действовал свой закон братства, отстранявший всякие чины, и прежний ездовой безо всякого подкузьмил прежнего командира полка, а ныне — своего председателя. Да и все знали: Кузьмич — мужик свой, не чиновный, с ним можно. Если к месту, конечно.

Иван Кузьмич тоже не остался в долгу перед дедом Василием:

— Свои-то ты, поди, гущей начистил? Сверкают — с того конца поля видать.

— Не-е, Кузьмич, не угадал! — зареготал дед Василий.— Это не я. Это мне баба надраила. Фронтовики засмеялись.

— Ей-бо, не брешу. Я хотел было так иттить, а она: не хорошо, говорит, с такими нечищенными на народ.

— Ай да молодец баба! — весело похвалил Иван Кузьмич.— Вот кому ордена носить — женщинам нашим!

— Это точно! Ежели по совести, то в самый раз пополам поделить. Одну половину нам, а другую им. Нам за то, что воевали, а им за то, что тыловали. А это ничуть не слаще войны.

— Значит, это старуха тебе так наблистила?

— Она, она! Да и как не наблестить?— развел руками дед Василий.— Ну, которые там медные, ладно. А то ить из серебра, а вот, скажи ж ты, тоже портятся, тускнеют. Я их и в сухое место прятал, на комель,— все едино гаснут. Нету того блеску, как было.

— Время, отец, время работает,— сказал Иван Кузьмич.

— Что там медали! Мы и сами, гляди, как потускнели, поистратились,— заметил Федор.— У всех вон седина из-под шапок.

— А у меня дак и вовсе волос упал,— дед Василий сдернул фуражку и засмеялся:— Во, как коленка! А в Будапешт этаким молодцом вступал.

— Ну ты, Василий Михайлович, и теперь еще герой.— Иван Кузьмич потрепал старика по плечу.

— А я и не ропщу! — готовно кивнул дед Василий.— Кукарекаю помаленьку. А то вон которых и совсем нет.

— Ох, и верно, мужики, бежит время! — Тихон Аляпин досадливо пересунул на седой голове путевскую фуражку с молотками.— Соберемся когда вот так, солдаты, глядь — того нет, этот не пришел.. Совсем мало нас остается...

— А что ж ты хотел,— сказал Федор.— Ты думал, уцелел, дак война тебя минула. Не-е! Сидит она у всех у нас. Грызет, подтачивает. Кого раны доканывают, кого простудные болезни, а кто животом мается. Даром не прошли эти четыре года...

Дядя Саша достал дюралевый портсигар и протянул его в круг на ладони. Все молча потянулись за сигаретами.

Наконец подкатил райисполкомовский "газик", остановился возле белой "Волги". Придерживая шляпу, из машины вышел сам Засекин. Он тоже был в свежей сорочке с галстуком, но в яловых сапогах, изрядно забрызганных грязью. Видно, по пути заезжал куда-то еще, а потому немного припозднился. Вслед за ним выбрался райвоенком, пожилой сухощавый капитан с плащ-палаткой, притороченной на ремешках. Третьим был инструктор ДОСААФа Бадейко. Засекин торопливо пожал руки стоявшим у белой "Волги" и, озабоченно взглянув на часы, сразу же направился к обелиску, собирая за собой, будто невидимым бреднем, быстро густеющую толпу. Молодцеватый инструктор в ухоженных троекуровских баках, с фотоаппаратом через плечо, забегаая вперед, громко оповещал:



— Товарищи, товарищи! Давайте подходите ближе! Давайте, давайте! Женщины у скирды, вас тоже касается!

Пока вокруг обелиска собирались люди, теснясь плотным кольцом, дядя Саша подошел к ребятам, уже разобравшим инструменты. Он и сам вынул из кармана свою маленькую трубочку, похожую на пионерский рожок, снял с нее чехол и по привычке несильно, беззвучно подул в мундштук и попробовал клапаны. Музыканты, поглядывая на небо, переминались, пританцовывали в своих легких модных плащах. И действительно, было холодновато. Откуда-то набежали низкие серые тучи. Они накрыли солнце, и стало ветрено, неуютно на открытом и голом угоре.

— Значит, так...— дядя Саша оглядел строй оркестрантов.— Как только снимут брезент — сразу Гимн. Прошу никуда не отлучаться.

— Да не волнуйся, шеф.— Пашка разглядывал себя в сверкающую тарелку, как в зеркало.— Слабаем, что надо.

— Вы мне бросьте это — "слабаем"! — дядя Саша нахмурился.— Ты, Павел, тарелками не очень-то звякай. Только тебя и слышишь.

— А что? Я все по уму. И в нотах указано: форто.

— Форто, форто... Слушать надо. Чувствовать надо мелодию. И весь оркестр. А ты лупишь, как сторож в рельсу.

Пашка обиделся:

— Зря придираешься, старшой.

Тем временем народ вокруг ожидающе притих, и военком, выйдя к подножию памятника, открыл митинг. В районном военкомате он служил уже давно, и знали его многие, особенно фронтовики. С разрубленной осколком нижней челюстью, которая срослась не совсем ладно, искривив ему рот, он выглядел угрюмовато, но был тихим, непритязательным человеком. Еще в самом начале войны, во время эвакуации Шепетовского укрепрайона, он потерял семью — жену и двух девочек — и с тех пор жил бобылем со старенькой матерью, и на его окнах всегда можно было видеть клетки с чижками и серенькими чечетками.

— Друзья мои! — заговорил он, наклонив голову и по привычке поглаживая, застя уродливый шрам ладонью.— Матери и отцы... братья и сестры... дети и внуки! Мы все собрались тут, чтобы почтить память... кто отдал свои жизни...

Быть может, под гулками сводами зала голос оратора, усиленный микрофонами, и звучал бы как подобает. Но здесь, среди пустынного поля, под необозримым осенним небом, слова показались далекими и бессильными. Толпа задвигалась, еще больше уплотняясь, и детишки, прошмыгивая меж ногами у взрослых, начали пробираться в передние ряды, где слышнее. А Пашка все гудел обиженно:

— Вечно на меня бочку катит. Вон Курочкин ноты прочитать до дела не может, так ему ничего...

— Помолчи, пожалуйста! — досадливо обернулся дядя Саша, пытаясь сосредоточиться, уловить речь военкома.

Налетавший ветер принимался трепать угол брезента на обелиске, порой заглушая речь хлопками, и тогда лишь обрывки фраз долетали до дяди Саши:

— ...дожди смыли кровь павших с этих высот, вы собственными руками заровняли воронки и окопы, засеяли поля хлебом, и мирное солнце светит теперь над вами... Но ничем нельзя смыть нашу скорбь, заровнять наши душевные раны, притупить нашу память...

Военком, забывшись, убрал руку от подбородка, взмахнул ею, рассекая воздух, и стало видно, как нервно напряглась какая-то жила под его щекой, как потянула она всю правую сторону лица книзу.

— Вот возьму и уйду! — Пашка в самом деле отошел в сторону.

— Павел, — прошептал дядя Саша гневно, — встань в строй.

Пашка молчал, упрямо глядя на свои новые штиблеты. Кто-то обернулся в их сторону.

— Встань, говорю! — так же шепотом повторил старшой.

Парень, кисло глядя в поле, нехотя подчинился. И тут, перебивая военкома, раздался возмущенный голос инструктора Бадейко:

— В задних рядах! Прекратите базар, честное слово. Людей надо уважать, в конце-то концов.

Военком вскоре закончил свое выступление и отошел в сторону. Бадейко, пошептавшись с Засекиным, принялся разматывать веревку, витками охватывающую покрывало. Освободившийся брезент еще громче заколотился, потом взметнул пузырем. Бадейко держал его неловко, беспомощно. Несколько человек подбежало помочь. И когда брезент был усмирен и стащен, перед всеми предстал серый цементный конус, местами еще не просохший, со столбцом фамилий на металлической желтой табличке:

**Агапов Д. М., рядовой**

**Аникин С. К., рядовой**

**Борвенков В. В., мл. сержант**

**Вяткин К. Д., рядовой**

**Гаркуша И. С., рядовой**

**Захарьян А. Ш., сержант**

**Иванов И. П., сержант**

**Махов А. Я., старшина**

Это были имена людей, никому здесь не известных и уже давно не существующих, заглянувших в сегодняшний мир спустя много лет в виде знаков алфавита.

**Мокряков Т. С., рядовой**

**Мурзабеков Б., рядовой**

**Нечитайло Х. И., рядовой**

**Ноготков С. С., мл. лейтенант**

**Нуриев А., рядовой**

**Обрезков П. С., рядовой**

**Парфенов А. М., мл. сержант**

Дядя Саша подумал, что в этом списке его место было бы сразу за Парфеновым, потому что фамилия его тоже на "п" — Полосухин. Лежал бы он, конечно, не рядом с этим самым Парфеновым А. М., а может, сверху него, может — под ним. Это уж как положат. Там ведь клали не по алфавиту...

Ему уже махали рукой, делали знаки, чтоб оркестр начинал, и дядя Саша, спохватившись, поспешно положил пальцы на клапаны трубы.

— Три-четыре! И-и...— вобрав в себя воздух, он кивнул ребятам уже с трубой, прислоненной к губам.

Медь дружно рванула: "Союз нерушимый республик свободных..." Он не услышал своего корнета, а только почувствовал пальцами напряженную дрожь инструмента. Сотни раз на своем веку играл он Гимн с тех самых пор, как впервые разучил его на фронте. Но когда снова и снова брался он за трубу, какой-то озноб охватывал его. Он поднял взгляд на парней, уже отрешенно-сдержанных, враз посерьезневших, и одобрительно прикрыл глаза.

Засекин первым снял шляпу и склонил голову. Вслед за ним то здесь, то там замелькали руки, стаскивающие шапки. Женщины с прилипшими к ногам ребятишками тоже сняли с них кепчонки и, скорбно понурившись, теребили непокрытые мальчишечьи головы. И только военком не снял своей фуражки, а, приложив руку к малиновому околышу, стоял навтыжку, напряженно мигая, и пальцы подрагивали у его седого виска.

"...Мы в битвах решали судьбу поколений..." — мысленно выговаривал слова текста дядя Саша, следя, как ладно и вовремя отсекают ритм звонкие всплески Пашкиных тарелок. "Молодец! Вот может же, когда захочет".

Перебирая клапаны, дядя Саша слушал оркестр и вспоминал, как летом сорок четвертого под Быховом он в первый раз разучивал Гимн. Молодых офицеров вызвали специально в штаб дивизии, где под баян знакомили с напевом, чтобы потом они научили своих солдат. Музыка показалась тогда очень трудной, и, возвращаясь со спевки, командиры, чтобы не забыть, донести мелодию до окопов, всю дорогу напевали ее вполголоса. Наверно, странно было в прифронтовой полосе видеть разноголосо, нестройно бормочущих офицеров. Многие, пока шли, незаметно для себя все-таки перепутали нить напева, переиначили на свой лад, и потому в окопах солдаты сперва исполняли Гимн вразной — один взвод так, другой — этак. Но зато слова знали все назубок.

Дядя Саша дал отмашку, и музыка смолкла. В общем, мелодию проиграли сносно, и даже новичок Курочкин пробасил уверенно, без сбоев.

— Спасибо, ребята,— поблагодарил старшой, вытирая мундштук сатиновым чехлом.— Молодцы!

— Ну вот, а ты все ворчал,— бросил Пашка.

К памятнику сквозь толпу, пара за парой, уже шагали пионеры в белых пилоточках, несли венки в черно-красных лентах. Шествие возглавляла молоденькая вожатая с высоким начесом каштановых, должно быть подкрашенных, волос, и тоже в красном галстуке.

Девушка ступала торжественно, ни на кого не глядя, молодое лицо ее пылало и было тоже торжественно, даже строго.

Подножие со всех сторон обложили венками. Двое школьников — мальчик и девочка — замерли справа и слева, подняв руку в салюте.

Остальные, отойдя, выстроились рядами, четко обозначенными белыми шапочками.

Митинг начался.

Сначала речь держал председатель здешнего колхоза Осинкин, на чьей земле был сооружен этот памятник. Невысокий энергичный крепыш, на котором, как на молодом кочане с мороза, все поскрипывало и похрустывало — и новенький синтетический плащик с опояской, и крепкие каблукастые полуботинки,— он быстрыми шажками сменил военкома у подножия, снял узкую тирольскую шляпу и обвел всех живыми цыганскими глазами. Колхоз его славился вокально-танцевальным ансамблем, гвоздем которого считался знаменитый "Тимоня", инструментованный старинными рожками, сопелками и кугиклами, и каждый год бравший первые премии на областных смотрах. Этот ансамбль был, так сказать, увлечением Осинкина, да он и сам не прочь и спеть, и станцевать при случае. Осинкин же почитался душой различных слетов и районных мероприятий на воздухе, вроде Дня тракториста или праздника Урожая, и непременно избирался во всевозможные жюри. Но при всем при том вел хозяйство расчетливо, даже прижимисто, не любил рисковать, тратить копейку "на ветер", и прежде чем завести какую-нибудь новую машину, скажем дождевальную установку или суперзерносушилку, сначала посмотрит у соседа, стоит она того или не стоит. Говорил он всегда безо всяких бумажек, на память называл многозначные цифры распаханых под зябь гектаров, надоенных центнеров молока, сданных яиц, заготовленного силоса, внесенных удобрений, называл суммы доходов и расходов, капиталовложений, неделимых фондов. Словом, любил цифру и умел ее подать, а потому слушали его всегда с оживленным вниманием.

Здесь, на открытии памятника, Осинкина тоже слушали с интересом. Он рассказывал, как было развернуто соревнование на уборке урожая за личное право положить первый кирпич в основание обелиска и что в результате их колхоз сдал уже больше половины сахарной свеклы и, несмотря на отдаленность от приемного пункта, занял на вывозке третье почетное место в районной сводке.

А дядя Саша все смотрел на цементный конус, отыскивая на табличке место, на котором его прервали.

**Праведников Г. А.**, рядовой

**Проскурин С. М.**, рядовой

**Пыжов А. С.**, лейтенант

**Рогачев М. В.**, мл. сержант

**Родионов Н. И.**, рядовой

Как и все остальные здесь, дядя Саша тоже не знал никого из этого списка, но имена неотвратимо притягивали к себе.

— ...Итоги подводить нам еще рано,— продолжал Осинкин,— но то, что мы сделали, это уже весомо. Это, товарищи, ни много ни мало, а тридцать шесть тысяч центнеров сырья для нашей сахарной промышленности, или, если учесть, что из одного центнера бурака можно получить пуд сахара, то — миллион двести тысяч пачек рафинада, можно сказать, уже положили на

прилавки наших магазинов. А чтобы вам это представить более зримо, то получится по пачке сахара на каждого жителя таких городов-гигантов, как Харьков или Новосибирск.

— **Романов Ф. С.**, мл. сержант,—  
про себя читал дядя Саша.

**Салямов М.**, рядовой

**Санько А. Д.**, рядовой

— ...Вот сейчас закончим свои дела в поле,— воодушевленно говорил Осинкин,— подчистим там кое-что и вернемся доделывать новый клуб. Денег мы на это не пожалеем: надо миллион — отпустим миллион, надо полтора — дадим полтора. А как же? Хорошо поработали — будем культурно отдыхать, верно, девчата? А отдыхать у нас тоже умеют. Вот был наш ансамбль на ВДНХ,— пожалуйста, еще один диплом привезли.

Говоря, Осинкин время от времени косил карие глаза в сторону Засекина, как привык на активах и совещаниях бросать взгляды в президиум.

**Сыромятников В. С.**, рядовой

**Тихомиров П. К.**, рядовой

**Тугаринов М. З.**, рядовой

Вчитываясь в эти фамилии, дядя Саша как-то и не заметил, когда Осинкина сменила пионервожатая. Придерживая концы отутюженного галстука, которые ветер то и дело забрасывал ей на плечо, она начала звонко и четко рапортовать об успехах школьных следопытов. Старшой слушал эту чистенькую расторопную девочку, а перед ним встала вдруг в памяти картина, виденная все там же, под Быховом.

...Зимой они сменили пехотную часть на плацдарме по ту сторону Днепра. Поредешую, измотанную шквальным огнем, ее незаметно отвели обратно за реку. И дядя Саша, командовавший тогда ротой, увидел в бинокль перед занятыми позициями убитого бойца. Он ничком висел на немецкой колючей проволоке, сникнув посиневшей стриженной головой. Из рукавов шинели торчали почти до локтей голые, иссохшие руки. Казалось, этими вытянутыми руками он просил землю принять его, неприятного, скрыть от пуль и осколков, которые все продолжали вонзаться и кромсать его тело. Но проволока, видно, крепко вцепилась в солдата и не пускала к земле. За зиму на нем вырос горб снега, нелепый, уродливый. Это был, по всему, наш сапер или, может, разведчик. Он, лейтенант Саша Полосухин, дважды посылал по ночам своих людей снять убитого. Но труп был пристрелян немцами, и только зря потеряли еще двух человек. Больше за убитым он уже не посылал. Так солдат провисел до самой весны, и всем было больно и совестно смотреть в ту сторону. А в апреле труп оттаял, позвоночник не выдержал, переломился, и убитый обвис на проволоке, сложившись вдвое... Только в июне была прорвана оборона врага. Он, Полосухин, повел роту через проделанные проходы в проволочном заграждении и вдруг с содроганием увидел, что у висевшей шинели ворот был пуст и ветер раскачивал пустые рукава...

**Узляков С.Н.**, рядовой

**Умеренков К.Г.**, рядовой

**Федунец М.С.**, старшина

Кто же был тот, на проволоке? У него ведь тоже были фамилия, имя, отчество...

И дядя Саша подумал: как по-разному может сложиться судьба солдата. Даже если он пал смертью храбрых. Это благо, если его вовремя подобрали с поля боя, если опознали при этом и если ротный, составляя списки потерь, второпях не перепутал, не пропустил его фамилии. Это благо, если донесение попало в вышестоящий штаб и если тот штаб не окружили потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе с писарскими сундуками и сейфами. Если... Да мало ли этих "если" на пути солдатского имени к такой вот табличке на братском обелиске! А еще на этом пути и болота, и черные топи, реки и речки, заливы и проливы, обрушенные блиндажи, обвалы домов, сгоревшие танки и эшелоны и многое что другое... А еще — прямое попадание, когда на том месте, где солдат только что бежал с автоматом, через мгновение уже черно и смрадно дымится воронка и комья выброшенной земли, падая, мешаются с кусками одежды, даже не успевшей окроветиться...

**Фомичев В. А.**, мл. сержант

**Ходов С. М.**, сержант

**Цуканов А. Ф.**, мл. Сержант

В это время пионервожатая выкрикнула:

— Никто не забыт, ничто не забыто!

Она произнесла последнюю фразу особенно звонко и, довольная, что нигде ни разу не запнулась, пылая счастливым лицом, на носочках перебежала от обелиска к стоявшим в строю ребяташкам.

Выступило и еще несколько человек: заведующая здешним клубом — женщина уже в годах, но еще проворная, в искусственной дошке под леопарда и крепко отдающая духами; недавно демобилизованный паренек, надевший по этому случаю свой совсем еще новенький мундир с яркой нашивкой на рукаве и, по недавней армейской привычке вытянув руки по швам, отчеканивший о преемственности боевых традиций; после него в круг вышел, опираясь на самодельный костылик, согбенный учитель истории из ближней деревни. Начал он с Александра Невского, с Ледового побоища, перешел к Куликову полю и тут хотел к случаю продеklamировать стихи и уже прочел было первые три строчки:

Воткнув копьё, он бросил  
шлем и лег.

Курган был жесткий,  
выбитый. Кольчуга  
Колола грудь, а спину  
полдень жег...—

но неожиданно запнулся и умолк. Старичок мучительно потирал пальцами восковой висок, напрягал память, твердя последние слова: "а спину полдень жег...", "а спину полдень жег...", однако, так и не вспомнив продолжения, сокрушенно махнул рукой и, растерянно улыбаясь, бормоча: "извините, извините",— отступил в толпу.

Вышла и еще женщина, видно, из колхозниц — в зимней суконной шали, с заветренным лицом. За ней побежал было мальчик лет шести, но на него зацыкали, потянулось сразу несколько рук: "Нельзя, нельзя туда! Ты что ж это?" Однако мальчонка увернулся, прошмыгнул-таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо набычась.

— Ничего, пусть постоит,— сдержанно улыбнулся Засекин.— Ишь ты какой герой!

А женщина, не замечая парнишку и еще не произнеся ни слова, сразу побледнела лицом, как только оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула высоким запальчивым голосом:

— Я вам так скажу, товарищи: моих полегло двое. А я хоть и живая, а тоже поранетая на всю жисть...

И вдруг закрылась руками, грубыми, негнущимися пальцами, какие бывают от бурака и стылой осенней земли.

Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим народом, она наконец отняла руки, ожесточенно оглядела толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела выразить свою старую боль, и, не сумев найти таких слов, вдруг подхватила мальчику, подняла под мышки и, повернув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче:

— Смотри, Витька! И запомни! Вот она какая война.

Мальчонка, ничего не понимая, замерев, испуганно глядел на граненое острие обелиска.

От имени фронтовиков взялся сказать несколько слов Иван Кузьмич Селиванов.

— Ну что тут можно добавить? — трудно, задышливо начал он, вздымая грудью всю тяжесть своих орденов.— Но вот поставлен еще один памятник товарищам по оружию. Это хорошо, это нужно. Теперь будем все сообща беречь его, следить, чтобы время не стерло их имена. Ну, конечно, памятник не ахти какой видный. Делали его наши местные мастера. Слов нет, Осинкин мог бы пригласить и поименитей специалистов, поставить и повыше, и поосновательней, скажем, из мрамора или из гранита: денег у него на это хватило бы — в миллионерах ходит...

Стоявший неподалеку Осинкин нетерпеливо переступил, похрумкал скрипучими штиблетами.

— ...Он ведь как рассудил? Могила, мол, не в людном месте, в стороне от туристских дорог, паломничества не будет, можно и поскромнее.

— Брось, брось, Кузьмич! — не сдержался Осинкин.— Памятник типовой, не хуже, чем у других. Мы в Тарасовке смотрели — там тоже такой, наш даже повыше.

— Дело, в конце концов, не в мраморе и высоте памятника,— продолжал Селиванов,— а в нашей памяти. В нашем понимании того, какой ценой заплачено за победу над самым лютым из врагов, когда-либо нападавших на

русскую землю.— Селиванов перевел дыхание.— Мой полк прошел от Воронежа до Белграда. Были моменты, когда в полку оставалось только триста с небольшим человек, и то вместе с ранеными. А когда мы в конце войны вместе с начальником штаба подсчитали, сколько прошло через наш полк людей, то сами себе не поверили. Двадцать две тысячи! Двадцать две! Вы спросите, куда они девались? А вот они,— Иван Кузьмич указал на обелиск.— Тут! Правда, многие остались позади полка по госпиталям и лазаретам. Но многие вот так — в чистом поле. Полк шел на запад, а за нами — от села к селу, от города к городу цепочкой тянулись могилы — путь к нашей победе. За это время я сам вот этими руками подписал и отправил многие тысячи похоронных извещений. И где-то, во всех уголках нашей земли, получали их и не слышно для нас захлебывались горем тысячи овдовевших женщин и осиротевших детей... Полк мой не проходил по этим местам, но здесь шел чей-то другой полк, другая дивизия. И путь ее был такой же!

В толпе кто-то всхлипнул, а Иван Кузьмич, постояв в раздумье, снова поднял голову:

— Заканчиваю, товарищи... Я не стану вас призывать достойно трудиться на этой земле. Вы об этом и сами знаете. Я только хочу, чтобы вы, мужчины и женщины, бывшие солдаты и солдатские жены, участники и очевидцы, пока еще живы, пока это не стало достоянием исторических книг и архивариусов, передали бы своим детям и внукам священную память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу. Вот это я хотел сказать.

Ему дружно похлопали.

Больше желающих выступить не оказалось, хотя бывшие фронтовики и подбадривали друг друга: дед Василий — Федора Бабкина, а тот подталкивал в спину Тихона Аляпина, который застенчиво упирался и посылал Федора:

— Какой из меня говорильщик. Ты пограмотней мово. Да и что говорить? Вон Кузьмич все сказал.

Так они препирались тихонько, а слово тем временем было предоставлено самому Засекину.

Засекин вышел в круг и взглянул на часы...

Сегодня дядя Саша слышал в завкоме, что на завод должны были прибыть чешские специалисты. Ожидали их к вечеру, но уже с утра девчата драили столовую и было слышно, как в заводской гостинице гудели пылесосы. Летом, во время подготовительного ремонта, чехи устанавливали в цеху свои новые диффузионные аппараты повышенной мощности и теперь, когда завод начал сезон, должны были приехать снова, чтобы проверить оборудование под полной нагрузкой. Засекину надо было их встречать, однако митинг затягивался, к тому же его открыли позже, чем намечалось, и предрик, похоже, беспокоился.

Но насчет чехов дядя Саша только предполагал, а, возможно, у Засекина могли быть и другие неотложные дела: все же на его плечах целый район, да еще в такую напряженную пору, когда то здесь, то там ломался график уборки сахарной свеклы.

Говорил он, однако, без заметной торопливости, обстоятельно и толково, обрисовал международное положение, рассказал о достижениях района и его текущих задачах, назвал передовиков. Слушали и смотрели на него с



особенным интересом, потому что многие видели Засекина вот так близко впервые.

Но тут, в самый разгар его выступления, вышла непредвиденная заминка. Подвыпивший мужичишка, растрепанный ветром, в расстегнутой до пула рубашке, убегая позади толпы от кого-то, запнулся о лежащую на стерне басовую трубу и, загремев наземь, плаксиво зашумел, забуянил:

— Ты домой меня не гони! Нечего меня гнать. Я тоже воевал. Я, может, тверезей тебя!..

Засекин прервал речь, на мужика зашикали. Ребята-оркестранты подхватили его под руки и без церемоний, волоком, потащили по пахоте к грузовику. А тот, загребая ногами землю, все вскрикивал визгливо:

— По какому такому праву? Я тоже воевал!

— Но, но! Раскудахтался! — весело покрикивал на мужика Пашка, пользуясь случаем поразмяться, заняться каким ни есть действием. — Будешь выёгиваться — мухой на пятнадцать суток постригу. Жора, давай ножницы!

— А чево она, зануда!.. Указчица! Нынче наш день. Хочу — гуляю!

Женщина в упавшем на плечи платке понуро шла следом к грузовику, подобрав на пахоте оброненный башмак. Засекин молчал, сдержанно покашливал — пережидал.

— Это твой артист? — спросил он наконец Осинкина.

— Да тут один... В примаках живет.

— Зачем привезли такого?

— Да ведь кто ж знал? Пока везли, вроде ничего был, незаметно. Это он уж тут, наверно, с кем-нибудь... Приеду — мы с ним разберемся. Вот шельмец!

— Нехорошо получается, товарищ Осинкин.

Парни дружно подняли и кулем перевалили шумливого мужика через борт в кузов, и женщина зашвырнула туда ботинок. Происшествие оживило публику, толпа задвигалась, загудела, мужики стали закуривать. А из кузова несло разудало:

И все отдал бы за ласки  
взора-а,  
Лишь ты владела б мной  
одна-а...

— Перебрал Никитич, перебрал! — снисходительно журили в толпе мужики. — Вот ведь и печник хороший, а — с изъяном.

Засекин после этого говорил недолго, и вскоре митинг объявили закрытым. Оркестр снова проиграл Гимн. Но и когда смолкли трубы, толпа все еще стояла вокруг обелиска и мужчины не надевали шапок.

— Все, товарищи! Все! — вскинул руки Бадейко. — Спасибо за внимание!

Люди, словно не понимая, что все уже кончилось, расходились нехотя, озираясь, оглядываясь, будто ожидали чего-то еще.

Засекин, бегло попрощавшись и уже на ходу напомнив: "Так завтра сессия, товарищи! И — никаких опозданий!", направился со своими спутниками к урчавшему мотором "газику" и сразу же уехал. Вскоре разошлись по машинам и председатели.

— Василий Михайлович! — окликнул из своей "Волги" Селиванов.— Садись, подброшу.

— Да вот не знаю...— растерялся дед Василий.— Тут робяты маракуют того... Я, поди, еще побуду маленько... Дак и ты, Кузьмич, давай к нашему салашу.

— Спасибо, братцы! Мне этого теперь — ни-ни!..— Иван Кузьмич положил руку на орден.— Барахлит что-то...

— Ну, ежели так, то конечно...

Иван Кузьмич, насажав полную машину попутной малышни, тоже уехал, и было видно, как скособочилась на одну сторону перегруженная старенькая машина...

Поле постепенно пустело. Умчалась машина с веселыми пионерами. Вниз по склону покатали мотоциклы, велосипеды. Неспешно побрели и пешие, кому идти было недалеко, до ближайших деревень, что отсюда, с косогора, виднелись как на ладони.

— Все отдал бы за ласки взорра-а...— продолжал выкрикивать мужичонка, высываясь из-за борта и опять оседая на дно кузова.— И ты б... и ты б...

Подошел Федор Бабкин, взял дядю Сашу под локоть:

— О чем, солдат, задумался? Пойдем, посидишь с нами. Под скирдой уже пристроились Степан Холодов, Тихон Аляпин, дед Василий и еще несколько человек.

— Во, еще один орелик! — оживился дед Василий.— Садись-присаживайся. Какую-никакую, а поминку справим. По старому по нашему обычаю.

Фронтвики охотно раздвинулись, высвобождая дяде Саше место в кружку на соломе. Откуда-то объявилась стопка, налитая до полна, в дяди Сашину руку вложили помидор.

— Давай, товарищ лейтенант,— кивнул дед Василий.— А то говорить поговорили, а добрые слова не скрепили. Они и отлетят дымом, слова те.

Старшой на этот раз не отказывался и, подняв стопку, взглянул на обелиск.

— Ну, простите, братья! Пусть будет вам пухом...

— Вечная память... Вечная память,— нестройно и торопливо заговорили и остальные, опять снимая шапки.— Вечная вам память.

Дядя Саша выпил в молчаливом окружении старых солдат, опустивших седые скорбные головы.

Неожиданно появился Пашка, хотел что-то спросить, но, увидев склоненных людей, в нерешительности замялся.

— Тебе чего, Павел? — поднял глаза дядя Саша.

— Да... хотел узнать... Играть больше не будем?

— Нет.

— Тогда нам тоже можно порубать?

— Садись, пожалуйста,— подвинулся Федор.

— Да, нет, спасибо. У нас своя компания.— Он постоял, разглядывая мужиков, потом с обидой сказал:— С нами так не стал, старшой.

— Иди, Павел,— попросил дядя Саша.— Я сейчас приду.

— Да чего уж, сиди,— сказал Пашка.— Я ведь только спросить, будем играть или пошабашили.

Что-то насвистывая, Пашка ушел к ребятам, где на поваленном плашмя барабане стояла бутылка и Жора, шурша бумагой, раскладывал закуски.

Федор Бабкин, поглядывая на женщин, уже рассеявшихся по грузовым машинам, украдкой наливал, закрываясь полой, и обносил рюмку по кругу.

— Давай, Степ, бери... Тихон, твой черед...

Фронтвики торопливо выпивали, тыкали дольками помидоров в спичечный коробок, в мокрую розоватую кашу соли и, не дожидаясь еще, лезли в карманы за куревом. А с машин нетерпеливо окликались:

— Эй, мужики! Вы чего там колдуете? Поехали!

— Да сейчас!— отмахнулся Федор.— Сейчас едем.

— Ждать не будем!— кричали с машин.

— Ох эти бабы!— подсадовал дед Василий, вставая.— Никакого понятия. В кои-то разы собираемся так вот. Может, и не свидимся больше.

Фронтвики нехотя начали подниматься.

— Так пусть себе едут,— сказал дядя Саша.— У меня тут своя бортовая. Тебе, Сорокин, куда?

— Да мы вот с ним, с Хмызовым, из Березовки. А Федору вот с Тихоном в Махотино надо. Дальше, за нами.

— Ну, не волнуйтесь, всех отвезем.

Обрадованный Федор побежал сказать, чтоб их не дожидались. Машины начали разъезжаться.

Вернувшись, Федор выкопал из-под скирды еще одну бутылку, принялся оделять по новому заходу. То обстоятельство, что теперь не надо было никуда спешить, располагало к воспоминаниям, и Степан Холодов оживленно хлопнул себя по колену:

— А вот, братцы, был у нас один случай!..

— Ну, ну, давай.

— Брали мы под Орлом одну высоту. И высотка-то не больно какая, а не подступишься: все открыто, ни кусточка, ни задоринки, а по низу — топь. Ну, раз сунулись — не вышло, в другой — никаких делов. Строчит и строчит из дота. Пробовали бить по нему из минометов — дым, пыль, ну, думаем, все, накрыли! Сунемся, а он опять: тра-та-та-та... Живой гад! Оно б пальнуть из артиллерии, может, что и получилось, да не было при нас никакой артиллерии. Одни ротные минометы. Ну а у тех силенок оказалось маловато: фук-фук, а немец цел. И потери у нас уже немалые. Командир батальона по телефону нашего ротного материт, чтоб к такому-то часу высота была захвачена, да и только!

— Ну дак вы б ее ночью-то, по темному...

— Погоди ты, ночью... До ночи вон сколь было ждать. Да... Сидит наш ротный в траншее, курит, на сапоги плюет — злой-презлой. Мы тоже помалкиваем, отпыхиваемся после атаки. А что скажешь? Видит око, да зуб неймет. Вот тебе подсаживается к нему один солдатик, пацан пацаном. Товарищ командир, говорит, отпустите вон в ту брошенную деревню. Если я найду, что мне нужно,— даю слово, после обеда скovyрнем немца.

— А что ж ему такое нужно-то было?

— Не перебивай. Сказать, так не интересно будет. Слушай... Ну, отпустили его, пополз парень. Глядь — вертается, волокет что-то в мешке. Полдеревни, говорит, обшарил, а нашел. Только теперь надо обождать, когда солнце к немцу за спину пойдет...

— А-а! — засмеялся Федор. — Разгадал — зеркало!

— Ну, разгадал — нечего теперь и рассказывать...

— Давай, давай!..

— Изготовились мы к новой атаке, ждем. Только солнце начало к немцу воротить, парень и достал из мешка свою хитрость. А стекло во какое, с газету! Давай, наводи, говорит ему командир. Ну и уцелил он что ни есть в самую амбразуру. Немцу, конечно, это не понравилось, а что он может сделать? Кинулись мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не та, а куда попало. А парень ему зеркалом-то все в рожу, в рожу! Ну, конечно, там, окромя пулеметчика, и еще были, да мы их тут быстро разделали. Так потом и возили с собой зеркало, пуще глаза берегли. Как секретное оружие.

— Да это ж на Одере так вот прожекторами ослепляли.

— Э-э, браток, на Одере когда было? А то еще под Орлом. Оно, может, потом про наш случай и до генералов дошло, до самой Ставки. Ну дак, ясное дело, у генералов вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская.

— А то вот раз было... — начал фронтовик в резиновых сапогах.

И пошло, и пошло... Заговорили мужики, покраснелись лицами, заблестели глазами — не от водки, нет! Что там водка, если вспомнить нечего! А уж вспомнить им было чего — и геройского, и горше горького...

возле обелиска не осталось ни одного человека и он, серый, цементный, одиноко высился среди черной предзимней наготы полей.

— Сколько же их там лежит? — в раздумье спросил Степан Холодов.

— Сорок девять, — ответил дядя Саша.

— Да-а... Где-то сорок девять дворов осиротело. Деревня целая.

— Дак они из разных мест, должно.

— Ну, это я так, к примеру.

— Сорок девять еще немного. — Холодов полез за новой папироской.

— Бывало, и по сотне, а то и больше в одну яму клали. Наш полк в три дня целый батальон потерял.

— А говорят, будто теперь по нашей местности четыреста таких памятников будет поставлено, — сказал Холодов. — Лектор один приезжал, так рассказывал...

— Вполне может быть.

— Сколь же тогда по всей России? — прикидывал дед Василий.

— А вот и считай...

— Да еще по Польше, да по разным другим сторонам. Под Берлином одним триста тысяч легло.

— Сказано: всего двадцать миллионов.

— А немца сколь?

— Что-то миллиона четыре с небольшим, — сказал дядя Саша.

— Только-то? — удивился Холодов.

— А что — мало?

— Н-да... Как же так, били-били, а только четыре миллиона нахлопали? Выходит: мы его одного, а он наших пятерых.

— Да, чудак человек,— сказал Федор.— Мы одних только ихних солдат, а они кого попадая: и баб наших, и пацанов. Вон у военкома — и женку, и обеих девчушек... А сколь в Германию поугнал, в лагерях сгноил. Вот двадцать миллионов и набралось.

— Ох, лихо, лихо,— вздохнул дед Василий.— Не заесть, не запить этова. Не заесть, не запить...

Дед Василий помолчал, но вдруг, пересев половчее, сказал как-то осиянно, осветясь лицом:

— А все ж, братцы мои, помереть солдатом в бою с неприятелем — святое дело, што ни говори! Из всех смертей смерть! Ну вот што я? Ну, еще покопчу свет маленько, годка три-четыре, да и помру на печи. Снесут за деревню и закопают. И вся недолга. Потому как помер от старости. А вот ежели бы я там, солдатом смерть принял — это уже смерть вон какая. Глядишь, и мне памятник бы поставили.

Долго дымили сигаретами. Было слышно, как возле барабана о чем-то спорили музыканты:

— Не, Жорик, мелькомбинату ничего не светит. Кому там играть, где у них форварды? Там кирюхи одни.

— Не скажи! Вот увидишь, воткнут.

— Слабо! Они даже райпотребсоюзу продули.

Степан Холодов поправил пустой рукав телогрейки, выбившийся из-под ремня.

— Ты говоришь — четыреста...— сказал он.— Оно ежели все памятники поставить, как и положено, по тем боям, что тут были, так и пахать негде будет.

Дед Василий, сощурившись, оглядел дальние косогоры, будто прикидывал, где они должны стоять, эти не воздвигнутые еще обелиски.

— Надо бы раньше начинать ставить-то,— сказал Федор.— По свежим следам. Молодняк вон подрос, должен видеть и знать, во что обошлось. А то уж подзарастать начало. Долго ли: плугом прошелся — и все. Ровно, гладко, как ничего и не было.

— Я вам так скажу,— дед Василий обтер ладонью усы.— Это вот пешку, к примеру, сшибли в игре, а в другой кон опять ставь, опять двигай. А у солдата жизнь одна-разъедина. Солдата не воротишь. Ну, а коли он свою голову сложил, то нету цены ей.

Возле барабана дружно смеялись ребята.

— Вот дает! Заливает!

— Чего? — кипятился Пашка.— У них один Зюзя чего стоит!

— Дерьмо твой Зюзя.

— Зюзя — дерьмо? Ха-ха! А ты видел, как он штрафной бил? Видел? Вот как от скирды до того памятника. С тридцати метров. Как врежет! Под самую планку.

Мужики помолчали, прислушиваясь к спорившим музыкантам.

— Н-да...— Тихон поскреб под черной путевой фуражкой.— Я как-то на совещание в Белгород ездил. В дистанцию пути. А там, может, видели, на

площади Вечный огонь горит. А над огнем женщина пригорюненная такая. Из камня. Ночевать я не стал, думаю, уеду каким-нибудь товарняком. Иду часу во втором ночи-то через площадь, смотрю, пацаны возле Вечного огня колготятся. Лет по шестнадцати. Хохочут, на гитаре дрынчат. И девчатки с ними, все в белых платицах. Гляжу, на граните бутылка, стакан. Ах, говорю, поганцы вы этакие! Да разве для этого огонь тут зажгли? А что, говорят, мы такое особенное делаем? Мы ж ничего не портим. Марш, говорю, по домам! Осерчал я. А они в толк не возьмут. Мы тут до утра будем. Рассвет встречать. У нас, говорят, выпускной. Во как!

Сквозь тучи низко, у самого горизонта, пробилось солнце. Оно ударило багряными пучками по дальним угорам, что друг за другом необозримо убегали из виду. Его лучи отыскали среди этих холмов неприметную дотоле церквушку. Трепетный, бегучий свет быстро перемещался, накатываясь все ближе и ближе, и вот уже огнем полыхнула межевая цепочка тополей на соседнем склоне, медным отливом затеплились пашни, и среди них радостно зазеленели полотнища озими.

Фронтвики, привалившись к теплому боку скирды, загляделись неволью на это неожиданное прозрение солнца, на торопливый и просветляющий бег лучей его по земле.

И вдруг на фоне темного неба, загроможденного тучами, пронзительно, как вспышка, высветилась кинжально острая грань обелиска. В этот предвечерний час он выглядел особенно отрешенным, как бы вознесшимся над будничной суетой, и, может быть, потому пышная кипень венков у подножия — эта пестрота бумажных цветов, сосновой зелени, черных и красных бантов — показалась дяде Саше каким-то тщетным и ненужным убранством. Как старый музыкант, не раз имевший дело с погребениями, он не терпел венков. Скоро они пожелтеют, осыплется хвоя, дожди смоют с лент непрочные слова, написанные зубным порошком, и нет ничего печальнее видеть потом на могильной плите этот пожухлый мусор.

Солнце, посветив недолго, опять затянулось хмурой наволокой, и по краю разлилась багровая полоса заката. А вскоре предвечерняя синь и вовсе скорбно окутала холмы.

— Пора, однако, по домам.— Дед Василий оглядел небо.— Кабы дождя не натянуло. Второй день что-то мозжит нога, окаянная.

Остальные, вспомнив про разные свои дела, тоже засобирались, и дядя Саша пошел сказать своему шоферу, спавшему в кабине, чтоб тот развез фронтвиков по домам.

И вскоре, пофыркивая и покачиваясь на ухабах, машина увезла и деда Василия, и всех прочих.

К вечеру поутихло. Тучи присмирело сгрудились, непроницаемой толщей повисли над головой. Начало моросить — сперва одной только мокрой пылью, а потом посыпало и всерьез. Оркестранты, оставив лежать на жнивье инструменты, укрылись под застрехой обдерганной скирды. Уже в который раз выходил дядя Саша на край пахоты, подолгу глядел в сторону большака, откуда вот уже два часа дожидались машины. Но кругом было глухо, как бывает только в осеннем ненастном поле.

— Ну что, старшой? — нетерпеливо окликали его оркестранты.

Дядя Саша молча возвращался к стогу.

— Небось самогон трескает,— заключил о шофере Пашка.— Это точно.

Ребята угрюмо дымили сигаретами. Было слышно, как в душной утробе скирды пищали и возились мыши. Кто-то вспомнил, что сегодня наши играют на кубок с испанцами и что теперь не удастся посмотреть, потому что игру будут транслировать в семь, а уже начало седьмого.

— А у меня сегодня верная десятка гавкнула,— сказал альтовик Сохин, до самого подбородка обросший бакенбардами.— А то и побольше.

— А тебе куда? — поинтересовался Иван-бейный.— На "жмурика"?

— Ха, на "жмурика"...— Сохин брезгливо поморщился.— На "жмуриков" я уже давно не клюю. Это ты, поди, тройки там сшибаешь? На свадьбу в одно место приглашали.

— Свадьба — это дело,— согласился Иван.— Я быва-ал. Только играть помногу заставляют.

Иван-бейный принялся выдергивать слежало запахшую солому, долго по-собачьи уминал ее, подтыкал под бока и наконец затих. Вскоре раздался его мерный храп.

— Гаммы проигрывает,— усмехнулся Ромка.

Дождь заметно прибавил прыти, зачастил по плащам, парни, подбирая под себя ноги, все теснее жались к скирде. Один Иван-бейный беспечно похрапывал, не замечая сырости. Откуда-то налетела стая грачей, густо усеяла небо и полетела гомонящей полосой на восток, к ночевкам, исчезая, растворяясь в серой кисее дождя. С пролетом грачей ветер окончательно загустел, близко обступил скирду сумерками, и оттого время потянулось еще тягучей. Пашка снял с себя свою куцую болонью, попробовал укрыться, но не улежал под нею, сырость и копившееся раздражение подняли его, он отшвырнул плащ и, как затравленный хорек, свирепо зыркал по сторонам.

— И на кой хрен надо было отдавать машину! — сплюнул он, яростно тряхнув за плевком рыжей всклокоченной головой.— Теперь вот припухай.

— Да, тут старшой перемудрил,— отозвался Сохин, неприязненно поглядывая, как дядя Саша взад-вперед прохаживается вдоль стога.

Остальные сдержанно помалкивали.

— Всего-то пару раз и сыграли. Стоило ли переться в такую даль! — продолжал распаляться Пашка.— Другого оркестра не могли найти, что ли? Да теперь в каждом колхозе полно духачей.— Он рывком опять натянул на себя плащ, ткнулся головой в солому и уже из-под болоньи выкрикнул:— Небось старшой сам и напросился!

— Да помолчи ты наконец! — оборвал его дядя Саша.

Сдерживая себя, он побрел к инструментам, тускло поблескивавшим в стерне. В сумерках едва не споткнулся о барабан, плашмя опрокинутый поодаль. На кожаной деке вокруг опорожненных бутылок мокли клочья газеты, яичная скорлупа, остатки недоеденной хамсы. Старшой весь закипел от гнева: хотя бы убрали за собой эту пакость, черт возьми! И, чувствуя, что уже не владеет собой, вдруг крикнул:

— Разобрать инструменты!

Парни, не поняв, что стряслось, затаенно остались лежать.

— Встать всем! — глухо проговорил дядя Саша, чувствуя, как немеют челюсти.

Музыканты, еще помедлив, нехотя завозились в соломе.

— А в чем дело, старшой? — с небрежной растяжкой осведомился Сохин. И, не получив ответа, пожал плечами.— Что это он, а?

Поеживаясь от дождя, на ходу вытряхивая из пиджака и штанов полову, оркестранты понуро побрели разбирать трубы.

Послышались раздраженные голоса:

— Чья альтуха?

— Да тихо ты, козел, валторну раздавишь. Смотреть надо!

— Заткнись!

— Иван, забирай свою иерихонскую.

Дядя Саша, не дожидаясь, первым ступил на глыбистую, уже порядком промокшую пашню. Оркестранты, увязая в раскисшей земле, вразнобой плелись следом. На проселке старшой остановился и, когда выбрались все остальные, скомандовал:

— По три разбери-ись!

Ребята недовольно запротестовали:

— А зачем? Что мы, новобранцы, что ли? Кому это нужно?

— Прекратить разговоры!

Порядок построения оркестра все знали хорошо: корнеты — вперед, за ними тенора, альты, басы... Но было непонятно, зачем идти строем, да еще в дождь.

— Да брось фасонить, старшой,— снова попробовал,, отговорить Сохин.— Ну, чего ты?

— Стать в строй! — голос дяди Саши звучал непривычно чужим и непреклонным.

— Ого! — отпрянул Сохин и с недоуменной усмешкой втиснулся между Курочкиным и Белибиным.

— Барабан здесь? — окликнул дядя Саша, оглядывая хмуро переминавшихся оркестрантов.

— Здесь! — подал голос Сева из заднего ряда.

— Бейный бас?

— Ну, вот он я...— неохотно отозвался Иван.

— Шагом ар-рш! — Дядя Саша круто повернулся и зашагал вниз.— И не отставать.

Шли в отчужденном молчании, было только слышно липкое чавканье подошв на ослизлом проселке да бряцание труб, задевавших друг друга. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой и, застясь от дождя, закуривал на ходу. И только Пашка продолжал недовольно бубнить, понося шофера, дорогу, погоду и свою горькую судьбу.

— И куда мы? — с язвительностью спросил Сохин.

— Куда, куда!— сразу пыхнул Пашка.— С кудыкиной горы — в тартарары.

— Ясное дело: теперь до большака,— предположил Жора.

— Ничего себе! Километров десять! Ну, а там что?

— А там — на попутку.



— Плевать! — фыркнул Пашка.— Идем до первой деревни.

— А на работу? — с растерянностью спросил Курочкин.— Мне завтра в первую заступать.

— А это старшой отвечает. Наше дело телячье.

Склон был крут, ноги ступали будто в пустоту. По сторонам все выше дыбились горбы соседних холмов, и все меньше оставалось над головой тускло-серого неба. Угор нескончаемо сбегал и сбегал вниз, дорога уже едва различалась, и оркестранты, скользя и разъезжаясь ногами, спускались, будто в преисподнюю, сокрытую дождем и надвигавшейся темнотой.

Где-то ниже вдруг охватило подвальным холодом, дохнуло стоялой водой, жухлой осокой. Под ногами зачавкала жижа.

— Все! Начерпал в корочки,— кисло объявил Пашка.— На той неделе тридцатку отдал, теперь хана им.

— А ты ходи по камушкам,— усмехнулся Ромка.

— По каким камушкам? Какие тут камушки — сплошное болото.

Дорогу обступили черные громады ракушек, под которыми сразу стало темно, как в пещере. Дождь глухо шумел где-то высоко над головой, путаясь в чащобе веток, и лишь отдельные капли разреженно и тяжело колотили по спинам. Строй окончательно рассыпался, оркестранты брели как попало, прощупывая места потверже. Под ногами захрустел скользкий хворост, должно быть, наваленный шоферами в топких колдобинах. Ветки пружинили, цеплялись за штаны, больно хлестались, из-под них при каждом шаге с хлопом выбрызгивалась грязь. Иван-бейный вместе со своим басом залетел в какую-то канаву и долго шуршал кустами, отыскивая кепку. Выбравшись на твердое, он стал уверять, что идут вовсе не туда, не по той дороге, и вообще зря струнулись с места.

— Вот увидите, запремся куда-нибудь,— ворчал он, долговязо и неуклюже перепрыгивая по затонувшим следам.— Днем, когда ехали, никакого болота не было.

— Это точно! — злорадствовал Пашка.— Завел Сусанин! И что б я еще куда поехал! Мотал я такую самодеятельность!

Дядя Саша остановился, подождал Пашку.

— Ты вот что, Павел,— сказал он, придерживая парня за рукав.— Возьми-ка у Севы барабан.

— А почему, спрашивается, я?

— Да потому, что у тебя одни тарелки.

— Пусть Курочкин несет, любимчик твой. С его мордой только барабан таскать.

— Нет, понесешь ты,— жестко сказал дядя Саша.

— Все Павел да Павел,— передразнил Пашка,— Целый день придираешься.

— Ну, хорошо. Не возьмешь барабан — понесу я.

Пашка угрюмо молчал, пытаясь освободить рукав из крепко державших дяди Сашины пальцев. И вдруг заорал:

— Севка, паразит, давай свое грохало!

— Ладно, дядь Саш, я сам,— откликнулся Сева.— Мне еще не тяжело.

— Отдай, отдай! — строго настоял дядя Саша и, отпустив Пашку, пошел вперед.— Пусть понесет.

Пашка сорвал с подошедшего Севы барабан, сунул ему тарелки и, зло выматерившись, дал парнишке пинка.

— У, оглоед!

Ребята гуськом проходили мимо Пашки, не ввязываясь в спор. А Пашка, усевшись на барабан, жадно курил и, когда все прошли, поплелся сзади, чтобы ни с кем не идти рядом.

Держась за хлипкие перильца, ощупью минули какой-то мосток, который то ли был, когда ехали сюда, то ли не был.

Наконец кончился ракитник и постепенно начался угадываться подъем. Небо расширилось и, казалось, даже чуть посветлело. Все ожидали появления деревни. Но дорога, враз раскисшая, налившаяся водой по колеям и выбоинам, все тянулась куда-то с удручающей прямизной, все маячили надоедливо телеграфные столбы в серой хляби меркнувшего неба, и ничего не было слышно, кроме дождя, хлеставшего по спинам и трубам. Парни нахохленно брели за дядей Сашей, уже не обходя ни луж, ни колдобин. Двенадцать пар башмаков, еще утром начищенных до щегольского сияния, нестройно и безразлично чавкали, осклизались, хлюпали в сметанной вязкой жиже, и в этой беспорядочной толчее ног старшой улавливал скрытое недовольство самолюбивых, ничего еще не видевших мальчишек, почитавших себя на этом пути мучениками и жертвами несправедливости и произвола. В общем-то, конечно, получилось довольно нескладно, и дядя Саша испытывал неприятное чувство вины перед ними, но ведь должны же и они понимать то главное, ради чего он это сделал — отдал фронтовикам машину.

...В сорок третьем из запасного полка вывел он сотни три вот таких же зеленых, необстрелянных парней. И так же лили дожди и непролазны были дороги. Шли только ночами: остерегались авиации. К рассвету делали по тридцать — сорок километров. Тяжелые кирзачи, мокрые, разбухшие шинели, не успевающие просыхать за время коротких дневок, скудный паек и сон не вволю. Парни усыхали на глазах: осунулись, потемнели лицами. К концу недели засыпали на ходу: глядишь, идет, уронив голову, держится за соседа, как слепой. Несколько минут такого неодолимого забвения — и опять топает, месит нескончаемую грязь прифронтовой дороги. Последние тридцать верст уже не шли, а буквально домучивали. Помнится, как в рассветной мгле наконец завиднелись постройки пункта назначения. У всех билась одна только мысль: дойти, свалиться и спать, спать — все равно где, на чем...

И вдруг конный посыльный: прибывшее пополнение будет встречать сам командир полка. По колонне понеслось: "Подтянись! Разобраться по четыре! Оправить обмундирование!" На перекрестке в открытом "виллисе" стоял старый усатый подполковник. Он поднял руку к забинтованной голове, отдал честь едва тащившейся роте. "Поздравляю со вступлением в Действующую армию! — хрипло выкрикнул командир полка.— Всем присваиваю звание гвардейцев!" И в тот же миг за его спиной оркестр грянул веселый праздничный марш: "Утро красит нежным светом..." Утро было хмурое, лохматое, в глинистых лужах пузырился осточертевший дождь. Понурые, забрызганные грязью солдаты как могли подровняли нестройные,

разорванные шеренги, приподняли отяжелевшие головы, первые ряды даже попытались отбить строевым — так радостно, ободряюще гремела музыка, так звала она к чему-то прекрасному и необыкновенному! "Кипучая, могучая, никем не победимая!" — звонко, радостно пели трубы, и рота, воспрянувшая и слившаяся, вторила им тяжелым и грозным шагом. "Хорошо идете, товарищи гвардейцы! — перекрывая оркестр, крикнул дрогнувший лицом старый подполковник. — Благодарю за службу, сынки!"

В то утро дневки не было. Роте выдали оружие и вручили приказ на новый тридцатикилометровый форсированный бросок.

Тем же вечером дядя Саша водил их в первую контратаку. Прорвавшийся враг был остановлен, но многие из них тогда не вернулись...

— Подтяни-ись! — подбодрил парней дядя Саша, прислушиваясь к разреженным шагам на дороге.

На взгорке возле крайней избы старшей остановился. Сквозь перехлест дождя из окон бил яркий и ровный электрический свет, выхватывавший из темноты мокрый почерневший штакетник, за которым в палисаднике взалхлеб булькала переполненная кадка. Один по одному к избе молча подходили все остальные. Иван-бейный снял с плеча свою "иерихонскую", опрокинул раструбом книзу и вылил скопившуюся воду. Почуввав за воротами чужих, во дворе загремела цепью, заметалась собака. На ее хриплый, остервенелый брех в коридоре слышались шлепающие шажки, громыхнул деревянный засов, и в освещенных дверях появилась девушка в долгополом халате.

— Ой, кто это? — отпрянула она, увидев сверкающие на свету трубы.

— Бременские музыканты, — нарочитым басом отозвался Ромка, всегда готовый потрепаться с девчатами.

— Ой, ничего я не знаю! Ма, а ма! — девушка убежала, бросив дверь открытой. — Ма, там пришли-и..

В распахнутом коридоре были видны клеенчатый конторский диван с высокой спинкой, лопушистый фикус, белые цинковые ведра на деревянной скамье. Серый кот клубком спал на лоскутном коврик, посланном у порога на чистом крашеном полу. Потревоженный кот вытянул передние лапы в сладком зевке, поцарапал коврик и недоуменно уставился на незнакомых людей, столпившихся у крыльца.

Вышла женщина, круглолицая, полнеющая, в теплом платке на плечах. Дядя Саша сказал, кто они и откуда.

— Ой, лихо, в такой-то проливень! — сочувственно ужаснулась она, выглядывая за порог. — Да что ж вы стоите! Проходите уж, чего зря мокнуть.

Оркестранты стали было складывать инструменты на свету под окнами, но хозяйка запротестовала:

— И музыку заносите. Пропасть не пропадет, а кто ж ее знает... Машина невзначай колесами наедет или еще что... Чего ж бросать.

Ребята, пошмурыгав о траву туфлями, пообтрусив плащи, начали подниматься на крыльцо, сразу наполнив коридор запахом дождя и мокрой одежды. Кот предусмотрительно ушмыгнул в кухню. Не зная, оставаться ли им здесь или можно войти в дом, парни неловко теснились, озирались по сторонам.

— Проходите, проходите в горницу,— ободрила их женщина.— Машина мимо пойдет, никуда она не денется. По такой дороге не вот-то проскочит. Ее и в доме будет слышать.

Покидав в коридоре плащи и башмаки, ребята присмирело, гуськом прошли через кухню в горницу.

Возле кафельной грубки, спрятав руки за спину, стояли четыре девушки, настороженно поглядывавшие на незваных гостей.

— Еще раз здрастье,— вкрадчиво сказал Ромка. Подойдя к девушке, открывавшей им дверь, протянул руку топориком, представился:

— Рома.

Девушка пыхнула, некоторое время смущенно смотрела на Ромкину ладонь и, наконец решившись пожать ее, тихо промолвила:

— Вера.

— Очень приятно! — удовлетворился Ромка и передал ладонь другой девушке:

— Рома.

— Серафима,— охотно назвала себя другая девушка в черном спортивном костюме.

— Рома.

— Надя.

— Рома.

— Нонна.

— Очень, очень приятно. А это все моя охрана.— Ромка повел рукой, указывая на обступивших оркестрантов.— Знаете, как поется: "Ох, рано встает охрана!"

Девушки засмеялись.

Неловкость первых минут была преодолена, и вот уже Ромка, подкладывая хворост в занявшийся костерок беседы, допытывался:

— Значит, все четверо — родные сестры?

— Ага, сиамские близнецы,— подтвердила Серафима

— Ясно.

— Бурачные побратимы,— уточнила Надя.

— А это уже неясно.

— Что ж тут неясного? Приехали в колхоз бурак копать.

— Значит, студенты! Так это вы в нас бураками кидались?

— Когда? — удивились девушки.

— Где? — спросил Ромка.

— Что — где? — переглянулись девчата.

— Это вы спрашиваете — где.

Девушки, наконец разгадав подвох, расхохотались.

Дядя Саша остался на кухне с хозяйкой, только что принесшей со двора ведерко с прессованным углем.

Гремя совком, подбрасывая брикеты, мокро шипевшие на огне, она сетовала на дождь, которому можно было бы и повременить, поскольку в полях еще много свеклы. Ей-то дождь ничего, она работает под крышей, на ферме, а другим женщинам теперь достанется: благо ли возиться с бураками по такой земле! Вот и девочки из города у нее квартируют, прислали на

уборку. Та вон, в халатике,— ее дочь Вера, а остальные приезжие. Только вернулись с поля, едва успели умыться, переодеться, а завтра чуть свет опять идти. И Вера с ними ходит, оторвали от занятий. В этом году десятый кончает, класс ответственный, а тоже не посмотрели, отправили на бурак.

Говорила она охотно, с той гостеприимной приветливостью, которая невольно усвоена безмужними деревенскими женщинами.

— Да вот решила угольком протопить, просушить девчачью одежду, а то пришли, как гуща. Можно б и русскую печь затопить, девок теплом побаловать, да опасливо — дымить начнет, столько времени нетопленная. Да теперь и редко кто топит печи, все больше плитами обходятся. Меньше хлопот. Это ж раньше сами хлеба пекли, да скотине всякого варева на каждый день. А теперь все это отпало. Думала даже сломать печку-то, в доме попросторнее, да как-то рушить жалко, привыкли. Еще девочкой на ней сиживала, уж годов, годов той печке!

— Дом-то вроде новый,— заметил дядя Саша, оглядывая ровный потолок и свежую матицу.

— Да домок-то, верно, новый, после войны ставленный, а печка старая, еще от той хаты. Это ж как немец спалил деревню, так одни печи и торчали. На нашей весь кирпич пулями да осколками поиссечен, такие щербатины были! Потом, правда, глиной позамазали, а если обмазку отколупнуть, так на ней, бедной, живого места не сыщешь. Она у нас геройская печка, хоть медаль цепляй,— улыбнулась хозяйка.— Жалко разорять теперь.

Из боковушки, опираясь о дверной косяк, выползла старуха в подшитых валенках, тихо, без интереса поздоровалась.

— Да вот, мам, про нашу печь заговорили,— чуть громче обратилась к ней женщина.— Как ее пулями-то посеколо.

— А-а.— Старуха, придерживая одной рукой поясницу и опираясь о стол, медленно опустилась на табуретку.— Было, было,— она уже оживленной поглядела на нового человека.

— От печки все и пошло. Вся наша жизнь теперешняя. Как немец-то ушел,— сказала женщина с добродушной веселостью,— вылезли мы из погреба на свет божий, а света божьего и нет. От нашего двора — ни былочки, ни поживочки, одна черная печка. Поглядела — а труба без крыши-то до того высокая да страшная! А окрест глянули — и деревни нету. Одна дорога. И поле — вот оно, совсем близко.

— Про щи скажи, Пелагеюшка, про щи,— напомнила старуха.

Женщина засмеялась: — У нас щи перед тем в печи варились. Еще до пожара. Ну, скovyрнули крышку-то, а там одна саж.

Старуха улыбнулась слабо:

— Упарились.

— Ага... Ну дак что было делать, с чего начинать? Как жить? Стали мы нашу кормилицу плетнем оплетать да глиной плетень обмазывать. А сверху крышу из бурьяна накидали. Сарай не сарай, а затишок вроде вышел. С того и начали.

В кухню выскочила раскрасневшаяся Вера, хозяйкина дочь, спросила:

— Мам, можно яблок ребятам дать?

— Да разве жалко? — готовно согласилась Пелагея.— Свои, не купленные. Сходи, доченька, набери.

Девушка вышла в сени и, воротясь, быстро прошла в горницу с решетом крупной, улежалой антоновки. Из комнаты тянуло сигаретным дымом, дядя Саша слышал, как Ромка, видать уже освоившись, трепался там вовсю, и девчонки то и дело прыскали смехом.

— Может, и вы чего покушаете? — обернулась к дяде Саше хозяйка.— Весь-то день, поди, в поле играли.— И, не дожидаясь ответа, засуетилась у полки, достала хлеб, из крынки налила молока в кружку, обтерла донышко и поднесла гостю.— Оно бы лучше чего горяченького, да девчатки пришли, все подобрали.

— Кушай, кушай,— закивала старуха и, помолчав, спросила: — Это ж на каком поле играли, не расслышала я?

— Да вот там, за вашей деревней,— указал дядя Саша.— Как мостик перейти.

— Ага, ага...

— На заяружной пожне, мама,— пояснила Пелагея.

— Ага, ага... На заяружной...— повторила за дочерью старуха.— Дак там-то дюже сильные бои были. Сколь недель бились: он — наших, а наши — его, он вот как палит, а наши не уступают. Коса на камень. Уж так изрыта пожня была, так изрыта! А уж гранатов этих да всякого смертоубийства оставлено — как ребятишки убегут туды, аж сердце захолонет. Сколь покалечило беспонятных. Дикое поле сделалось, весны две не пахали, все, бывало, голодные собаки туда бегали.

Дядя Саша придвинул кружку, и, пока ел, обе женщины как-то вдруг смолкли и, пригорюнившись, с тихим вниманием, исподволь смотрели, как сидит он у них за столом, этот немолодой, усталый мужчина, как ест хлеб и прихлебывает молоко.

— Ох-хо-хо,— вздохнула каким-то своим думам старуха и темной рукой погладила на столе скатерку. А он, запивая хлеб молоком, чувствовал на себе их взгляды и думал, что, наверно, давно за этим столом не кормили мужчину и давно, должно быть, живет в этом доме тоска по хозяину.

Вера опять выбегала в сени с опорожненным решето, и в горнице весело гомонили, наперебой хрустели яблоками.

— А чем рассчитывать будем за такой сервис? — слышался голос Ромки.

— Да что вы! Ничего и не надо,— отвечала Вера.— Вы уж лучше сыграйте что-нибудь.

— Это всегда пожалуйста.

Старуха, склонив голову, некоторое время тугоухо прислушивалась к разговору в комнате, потом сказала:

— Наш Алексей тоже, бывало, на гармошке играл. Вот так же соберутся и ну шуметь.

— Дак и Коля тоже играл,— живо заметила Пелагея.

— И Коля, и Коля...— согласно закивала старуха.— Коля тоже веселый был. Они обои веселые были.

— Сыновья? — спросил дядя Саша.

— Сыно-очки, сыно-очки,— опять закивала старуха.— Вот ее, Пелагеюшкины, братья. Принеси, Пелагея, карточки-то, покажь человеку.

Пелагея сходила в темную, без света, боковушку, вынесла небольшую рамку с фотографиями, окрашенную голубой масляной краской, так же как и цветные горшки на подоконнике, как рукомойник в углу, и, на ходу протирая стекло передником, сказала извинительно:

— Висела в горнице, а Верка: сними да сними. Говорит, будто не вешают теперь всех заодно в одной раме, не модно. Теперь, дескать, в альбомах надо держать. Ну, я взяла и сняла, перевесила к маме в темную.

Хозяйка поставила рамку на стол, прислонила к стене. Старуха, щурясь, напрягаясь лицом, потянулась к фотографиям:

— Я дак теперь и не различаю, который тут где. Это вот не Лексей ли? Ну-ка, Пелагея, ты зрячая.

— Это Коля с дружками. Еще в эмтээсе снимались.

— Ага, ага... Дак а это кто же тогда, не пойму?

— И это тоже Коля.— И уже дяде Саше пояснила: — Колиных тут целых три карточки. Вот еще он. С Василием. Это наш, деревенский. Они в одной части были. А Лешина одна-разъединственная. Леша-то наш, вот он. Как же ты, мама, забыла? Он всегда у нас с этого края был.

— Дак, может, переставили когда...— оправдывалась старуха.— А так, как же, помню... Лексей... сыночек...

Она дрожащими пальцами потрогала стекло в том месте, где была вставлена крошечная фотокарточка с уголком для печати. Дядя Саша и сам едва различил на ней уже слабые очертания лица, плохо пропечатанного каким-то фронтальным фотографом, погасшего от времени. На снимке просматривались одни только глаза да еще солдатская пилотка, косо сидевшая на стриженной голове. Вот-вот истают с этого кусочка бумаги последние человеческие черты, подернутся желтым налетом небытия. И дядя Саша подумал, что, должно быть, старуха-мать, сама угасающая и полуслепая, уже не обращается к этой карточке: она давно для нее блеклая пустота. И даже память, быть может, все труднее, все невернее воскрешает далекие, годами застланные черты. И только верным остается материнское сердце.

— Лексея-то помню...— как-то отрешенно, уйдя в себя, проговорила старуха.— Как же, первенец мой. Уже зубочки резались, а я все грудью баловала. Уж так прикусит, бывало...— Старуха провела по пустой ситцевой кофте и, наткнувшись на пуговицу, успокоила на ней мелко дрожащую руку.

— Ну, а это мы тут со Степой,— встревоженно метнув взгляд на мать, поспешно и даже весело сказала Пелагея.— Сразу как поженились. Это уже опосля войны.— Пелагея задержала тихий и грустный взгляд на фотографии, где она, простенько, на пробор причесанная девчонка, радостно-настороженная, едва доставала до плеча строгого, уже в годах мужчины. И уважительно, чуть дрогнувшим голосом, добавила: — Со своим Степаном Петровичем...

Она помолчала, предоставляя дяде Саше поглядеть на себя молодую и на своего Степана.

— Ну, а это все двоюродные да тетки. Весь наш боковой корень. Только папы нашего здесь нет. До войны как-то не успел сняться, а потом просили-просили, чтоб с фронта прислал, так и не дождалось. Все есть, а его нету...

Хозяйка взяла со стола рамку, опять отнесла ее в темную боковушку и, воротясь, подытожила:

— Четверо легло из нашего дома. А по деревне так и не счесть.

— А четвертый кто же? — спросил дядя Саша.

— А четвертый Степа мой. Мы с ним уже опосля войны поженились. Он-то до самой Германии дошел, а это потом смерть и его нашла, уже дома достала. Раны у него открылись. Перемогался, перемогался, лег в больницу, да больше и не вышел оттуда...

Лицо Пелагеи дернулось, и она быстро прошла к плите, высыпала из ведра остатки угля. Потом долго через конфорку шуровала кочергой, разгребала, уравнивала брикетины.

— Степа-то мой у себя лежит, ухоженный,— вздохнула она, не поворачиваясь от плиты.— И оградку мы ему поставили, и карточки подменяем. Я сразу десять штук увеличила, чтоб надолго хватило, пока сама жива. Да и так когда сходишь поплачешься, бабье дело... А уж как те мои родненькие лежат, и где они... Ездил я года два назад поискать папину могилку. Сообщали, будто под Великими Луками он. Ну, поехала. В военкомате даже район указали. Около станции Локня. И верно, стоят там памятники. Дак под которым наш-то? Вечная слава, а кому — не написано. А может, и не под которым. Местные-то люди сказывают, будто и теперь еще из омшар да болот костяки достают... С тем и вернулась я... Ну, а Николай в морской авиации служил.— Пелагея понизила голос: — Того и искать нечего... А Леша наш до сего дня без похоронной... Я раньше тоже ждала, да что ж теперь... Столько лет прошло... Одна мама все надеется...

Старуха ревниво прислушивалась, потом подняла глаза в потолочный угол, выдохнула скорбный полусшепот:

— Ох, светы мои батюшки! Ох, неприбранные лежат страдальцы наши!

— Что ты, мама! — испуганно возразила Пелагея.— Как так можно? Неприбранные! Выдумает тоже.

Дядя Саша молча курил, глядя на черные стекла ночного окна, по которым, подсвеченные из комнаты, косо чиркали трассирующие капли дождя. И опять ему привиделся тот неизвестный солдат на проволоке под дождем и пулями, синими руками просившийся к земле. И как потом осыпался он из своей шинели костями и прахом...

А старуха, утвердив обе руки на коленях, безмолвно сидела, уставившись в малиновое поддувало, сидела так, как, наверно, привыкла за долгие годы сидеть в терпеливом ожидании чуда.

В соседней горнице девчата опять стали просить Ромку сыграть что-нибудь:

— Ну чего вы, правда! Что вам, воздуху жалко, что ли?

— Шейк? Босса-нова? — небрежно кинул Ромка.

— А играете? — обрадовались девушки.

— Спрашиваете!

— Ой, шейк, мальчики! Шейк!



— Ну как, братва, слабаем?

— Рванем!

— Ой, давайте, давайте! — студентки забили в ладоши.

На пороге кухни появился Ромка, по-хозяйски навалясь на косяк, возбужденно сказал:

— Шеф, там девчонки шейк просят сбацать. Как смотришь?

Дядя Саша даже не понял сразу, о чем говорил ему Ромка.

Он не сразу оторвался от окна, посмотрел на него каким-то невидящим взглядом и опять отвернулся. Ромка озадаченно помолчал и спросил уже потише, поспокойней: — Дядь Саш? А дядь Саш? Поиграть можно?

Тут подала голос старуха, она уловила Ромкин вопрос и, тронув дядю Сашу за руку, тоже попросила:

— Сыграй, милый, сыграй. У нас прежде в доме завсегда весело было. Лексей музыку любил. Он гармошку и на фронт забрал. Я ну его укорять: Леша, сынок, куда ж ты ношу такую, помеху-то? Будет ли тебе там когда играть? А он смеется: сгодится, мама, сгодится. Ну, да он и там время отыщет, он такой... Дак и Коля тоже любил... Сыграй, милый, сыграй.

Дядя Саша пристально взгляделся в старуху и услышал ее. В раздумье повернулся, посмотрел в вопрошающие Ромкины глаза, сказал негромко:

— Давай, правда, сыграем, Роман. И убежденно добавил, вставая:

— Несите-ка инструменты.

В комнате притихшие было ребята сразу загалдели, загремели стульями, живо вышли в сени за трубами. Подали и дяде Саше его черный чехол, и он вслед за Пелагеей шагнул в горницу. И старуха приковыляла, села в сторонку к окошку. Девчата уже поспешно составляли к стене стол, стулья, освобождали место под танцы.

— Ты что ж, Сим, так и будешь в тренировочном костюме?

— А что? Шейк ведь! Вон и Вера в халате.

— Я не буду,— замаялась Вера.— Я не умею такие.

— Ну что ты! Чего тут уметь. Пойдем, пойдем, я тоже туфли надену.

И девушки скрылись за занавеской.

— А ты почему не взял инструмент? — Дядя Саша покосился на Сохина, в стороне жевавшего яблоко.

— Да я потанцую. Хватит вам и одного альта.

— Ты мне нужен как раз. Иди возьми.

Сохин передернул плечами, недовольно вышел.

Ребята, каждый со своим инструментом, окружив старшего, изготовившись, поглядывали, как он распускал на чехле завязку, как не спеша обнажал свой прекрасный, сверкающий чистотой корнет. Делал он это как никогда торжественно, сосредоточенно, будто незрячий. Принаряженные девчата, сдержанно переговариваясь, расселись возле Пелагеи, и та участливо осматривала их прически и платья.

Дядя Саша постучал ногтем по корнету.

Трубы замерли в изготовке.

И, глядя вниз, на свои пальцы, что уже лежали на клапанах, выждав паузу, он объявил, разделяя слова:

— Шопен... Соната... номер... два...

Какое-то время оркестранты смятенно смотрели на старшего, глазами, немотой своей как бы спрашивая: какая соната? при чем тут соната? Кто-то удивленно шепнул: "Чего это он?" Девчата тоже переглянулись. И только Пелагея, ничего не поняв, продолжала улыбаться и радостно ожидать музыки.

Дядя Саша опять постучал по трубе:

— Играем часть третью. Вы ее знаете.

— Ну, знаем, конечно...— сдержанно кивнул за всех Ромка.

— Прошу повнимательнее. Он еще раз оглядел оркестр,

— Начали!

И, все еще недоумевая, думая, что произошла ошибка, оркестранты с какой-то обреченной неизбежностью грянули си-бемольный аккорд, низкий, тягучий, как глубинный подземный взрыв.

Пелагея, для которой слова "соната", "Шопен" означали просто музыку, а значит и веселье, при первых звуках вздрогнула, как от удара. Она с растерянной улыбкой покосилась на старуху, но та лишь прикрыла глаза и поудобнее положила одна на другую ревматические, сухие руки.

Дядя Саша кивком головы одобрил вступление и сделал знак повтора. Парни, все разом переведя дух и взяв чуть выше, уже уверенней, увлеченней повторили эти басовые вздохи меди. Ему было видно, как пристроившийся позади смятенный взгляд в какую-то одну далекую точку.

Возле него маленький круглолицый Сева, давая отсчет тактам взмахами колотушки, отбивал тяжелую медленную поступь траурного марша.

И Пашка с его не просохшими после дождя взъерошенными волосами вторил Севе тарелками, которые всплескивались среди басов и баритонов тревожной медной звенью.

Звуки страдания тяжело бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, в оконные, испуганно подрагивающие стекла.

Когда была проиграна басовая партия, вскинулись, сверкнув, сразу три корнета, наполнив комнату неутешным взрыдом..

Принаряженные девчата, потупив глаза, уставились на свои туфли, обмякла плечами и Пелагея, и только старуха, держа большие темные руки на коленях, сидела неподвижно и прямо.

Серое ее лицо, изрытое морщинами, оставалось спокойным, и можно было подумать, что она уснула под музыку и вовсе не слышит этого плача труб в ее бревенчатом вдовьем доме. Но она слышала все и теперь, уйдя, отрешившись от других и от самой себя, затаенно и благостно вбирала эту скорбь и эту печаль раненой души неизвестного ей Шопена таким же израненным сердцем матери.

И дядя Саша вспомнил, что именно об этой великой сонате кто-то, тоже великий, сказал, что скорбь в ней не по одному только павшему герою.

Боль такова, будто пали воины все до единого и остались лишь дети, женщины и священнослужители, горестно склонившие головы перед неисчислимыми жертвами...

И тут Вера, внучка, вдруг закрыв лицо руками, кинулась за занавеску.

Девушки тоже поднялись и одна по одной, ступая на носках, пошли к ней.

И как проливается последний дождь при умытом солнце — уже без туч и тяжелых раскатов грома,— так и дядя Саша повел мелодию на своем корнете в тихом сопутствии одних только теноров: без литавр, басов и барабанов.

Это было то высокое серебряное соло, что успокаивая, звучало и нежно, и трепетно, и выплаканно, и просветленно.

Освободившиеся от игры ребята — басы, баритоны — в немой завороченности следили за этим необыкновенным девичье-чистым пением дяди Сашиного корнета, звучащим все тише и умиротвореннее. Печаль как бы истаявала, иссякала, и, когда она истончилась совсем, завершившись как бы легким вздохом и обратись в тишину, дядя Саша отнял от губ мундштук. Бледный, вспотевший, он торопливо, потерянно полез в карман за платком. Он почему-то не стал возвращаться к басовому началу, которое у Шопена повторялось в самом конце шестивия. Видно, ему не хотелось заглушать свет этой успокаивающей и очищающей мелодии тяжелой эпитафией.

И когда он утер лицо и не спеша, устало принялся зачехлять трубу, в горнице все еще молчали. Было только слышно, как изредка всхлипывала за ситцевой занавеской Вера.

Старуха наконец встала и, отстранив рукой Пелагею, которая кинулась было поддержать ее, поковыляла одна, шаркая подшитыми валенками.

— Ну, вот и ладно...— проговорила она.— Хорошо сыграли... Вот и проводили наших... Спасибо.

И, остановившись посередине горницы, перекрестилась в угол.

Оркестранты молча закуривали.

Они шли к большаку непроглядным ночным бездорожьем. Все так же сыпался и вызванивал на трубах холодный невидимый дождь, все так же вязли и разъезжались мокрые башмаки.

Проходили набухшие водой низины, глухие распаханное поля, спящие деревни, откуда веяло палым садовым листом и редким дымком затухающих печей. Нигде уже не было ни огонька, а лишь недремные деревенские псы, потревоженные чавканьем ног на дороге, захлеб брехали из глубины дворов.

Шли молча, сосредоточенно, перебрасываясь редкими словами, и старшой слышал близко, сразу же за собой, тяжелое, упрямое дыхание строя.

Как тогда, в сорок третьем...

И дядя Саша, придерживая рукой разболевшееся, глухо ноющее сердце, что донимало его последние годы, громко подбодрил оркестр:

— Ничего, ребята, ничего. Скоро дотопаем...

Рассказ впервые опубликован в журнале "Наш современник" (1973, № 3), вошел в книгу "Мост" (М., Современник, 1974)

"В рассказе "Шопен, соната номер два", — писала "Литературная Россия", — вновь по крупницам, по односложным репликам матери, потерявшей почти всех детей-солдат, восстанавливается эпическая, щемящая душу, заставляющая о многом задуматься история целой семьи, выбитой войной под корень" (*Чалмаев В. Насущные заботы прозы.* — Лит. Россия, 1974, 5 апреля). В. Астафьев отмечал в произведениях Е. Носова о войне "осторожность, трепет и уважение к памяти погибших" (Астафьев В. О моем друге. — В кн.: *Евгений Носов. Усвятские шлемоносцы. Повести и рассказы.* Воронеж,

Центр.-Чернозем, кн. изд-во, 1977, с. 7); "Его рассказы (особенно я люблю "Красное вино победы" и "Шопен, соната номер два"),— отзывался Ю. Бондарев,— исполнены строгости, изящества, красоты, но не той красоты, которую создает недолговечное царство моды, а той, которая рождена талантом и находится в согласии с природой правды и слова" (предисл. в кн.: *Носов Е.* Усвятские шлемоносцы. М., Мол. гвардия, 1980, с. 4).